

Юрий Левитанский
Черно-белое кино

Серия «Поэтическая библиотека»

В это наиболее полное собрание сочинений Юрия Давыдовича Левитанского вошли все стихи, опубликованные при жизни поэта, включая последний прижизненный сборник «Белые стихи». Книгу завершает подборка стихов из неопубликованного, в том числе из цикла «Песни городской рекламы».

Стороны света (1959)

"Что я знаю про стороны света?..."

Что я знаю про стороны света?
Вот опять, с наступлением дня,
недоступные стороны света,
как леса, обступают меня.
Нет, не стороны те
и не страны,
где дожди не такие, как тут,
где деревья причудливо странны
и цветы по-другому цветут,
где природы безмерны щедроты
и где лето полгода в году, —
я сегодня иные широты
и долготы имею в виду.

Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света.
Сколько их?
Их никто не считал.
Открывается Детство и Старость,
открывается Злоба и Ярость,
море Нежности,
озеро Жалость
открывается в раме окна,
и глухие низины Порока,
и Любви голубая дорога,
и в тумане багровом Война,
— есть такая еще сторона
с небесами багрового цвета, —
и река под названием Лета,
где живет перевозчик Харон...

Ах, как много у света сторон!
Все они обступают меня,
проступают во мне,
как узоры на зимнем окне,
а потом они тают
и вновь открываются в раме рассвета,
незнакомые стороны света.

"В ожидании дел невиданных..."

В ожидании дел невиданных
из чужой страны,
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.
Огляделся. Над белым бережком
бегут облака.
Горожанки проносят бережно
куски молока.
И скользят, на глаза на самые
натянув платок.
И полозья скрежещут санные,
и звенит ледок.
Очень белое все и светлое —
ах, как снег слепит!
Начинаю житье оседлое,
позабытый быт.
Пыль очищена, грязь соскоблена,
и — конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое — на мне.
Я себя в этом мире пробую,
я вхожу в права.
То с ведерком стою над прорубью,
то колю дрова.
Растолку картофель отваренный —
и обед готов.
Скудно карточки отоварены
хлебом тех годов.
Но шинелка на мне починена,
нигде ни пятна.
Ребятишки глядят почтительно
на мои ордена.
И пока я гремлю, орудя
кочергой в печи,
все им чудится — бьют орудия,
трубят трубачи.
Но снежинок ночных кружение,
закононый свет —
словно полное отрешение
от прошедших лет.
Ходят ходики полусонные,
и стоят у стены

сапоги мои, привезенные
из чужой страны.

"Грач над березовой чащей..."

Грач над березовой чащей.
Света и сумрака заговор.
Вечно о чем-то молчащий
неразговорчивый загород.
Лес меня ветками хлещет
в сумраке спутанной зелени.
Лес меня бережно лечит
древними мудрыми зельями.
Мягкой травой врачует —
век исцеленному здравствовать,
посох дорожный вручает —
с посохом по лесу странствовать.
Корни замшелого клена
сучьями трогаю голыми,
и откликается крона
дальними строгими гулами.
Резко сгущаются тени.
Перемещаются линии.
Тихо шевелятся в тине
странные желтые лилии.
Гром осыпается близко,
будит округу уснувшую.
Щурюсь от быстрого блеска.
Слушаю. Слушаю. Слушаю.

"Откуда вы приходите, слова..."

Откуда вы приходите, слова,
исполненные доброго доверья?
По-моему, оттуда, где трава.
По-моему, оттуда, где деревья.
Нам переходы света и теней
за древними лесными деревьями
покажутся резными теремами,
возникшими из света и теней.
А дальше будет глуше и темней,
и тропка лисья станет неприметной.
Она и вправду стала неприметной,
а все-таки давай пойдём по ней,
пойдём на ошупь, ветки раздвигая.
Эге-ге-гей! Ну где же вы, слова?
«Слова, слова!..» — вздыхают робко листья,
и тропка поворачивает лисья туда,
где в листьях прячется сова.
А может, так же прячутся слова
за пнями и замшелыми камнями?
Слова — они, наверное, корнями,
как деревья, уходят в глубину.
И тропка нас уводит в старину,
туда, где бродит пращур волосатый
по травам, не имеющим названья,
где снег летит, не названный еще,
поет еще не названная птица и звезды,
у которых нет названья,
в дремучих отражаются очах.
И пращура охватывает трепет,
едва доходит до его сознания,
какая тяжесть на его плечах.
В нем глухо пробуждается художник,
и, сладкие испытывая муки,
он ждет вас, нерожденные слова.
Он что-то удивительное лепит,
мешая краски, запахи и звуки.
Сначала это только смутный лепет,
и вдруг он превращается в слова.
Тогда травой становится трава,
а этот сумрак зыблющийся — лесом,
а этот холод падающий — снегом,
а это чудо маленькое — птицей.

И я беру из рук его слова.
Они еще звенят, как тетива
и как стрела, что пущена из лука.
Они из цвета, запаха и звука.
На них еще не высохла роса.
В них травы отразились и деревья.
И у меня кружится голова,
пока я их несу тебе —
слова,
исполненные доброго доверья.

Пейзаж

Горящей осени упорство!
Сжигая рощи за собой,
она ведет единоборство,
хотя проигрывает бой.
Идет бесшумный поединок,
но в нем схлестнулись не шутя
тугие нити паутинок с тугими каплями дождя.

И после краткой подготовки,
над перелеском покружив,
повалят листья, как листовки, —
сдавайся, мол, покуда жив.

И сдачи первая примета —
белесый иней на лугу.
Ах, птицы, ваша песня спета,
и я помочь вам не могу...

Таков пейзаж. И если даже
его озвучить вы могли б —
чего-то главного в пейзаже
недостаёт, и он погиб.

И все не то, все не годится —
и эта синь, и эта даль, и даже птица,
ибо птица —
второстепенная деталь.

Но, как бы радуясь заминке,
пока я с вами говорю,
проходит женщина в косынке
по золотому сентябрю.

Она высматривает грузди,
она выслушивает тишь,
и отраженья этой грусти
в ее глазах не разглядишь.

Она в бору — как в заселенном
во всю длину и глубину
огромном озере зеленом,

где тропка стелется по дну,
где, издалёка залетая,

лучи скользят наискосок
и, словно рыбка золотая,
летит березовый листок.

То простодушно-величава,
то целомудренно-тиха,
она идет,
и здесь начало
картины, музыки, стиха.

А предыдущая страница,
где разноцветье по лесам, —
затем, чтоб было с чем сравниться
ее губам, ее глазам.

Мальчики

Из старой тетради

Мальчики как мальчики —
дерутся,
меняются марками,
а едва городские сумерки
за окном растают,
занавесив лампы
газетами или майками,
мальчики читают,
мальчики читают.
Взмыленные лошади
мчатся по полям и по рощам.
Бородатые всадники
пьют воду из медных фляг.
Летит бригантина,
и ветер над ней полощет
с белым черепом
черный пиратский флаг.
А они упрямо отсчитывают
версты и мили.
А они до рассвета не гасят огонь.
Мальчики живут еще
в придуманном мире
скальпов,
томагавков
и дерзких погонь.
Еще к ним придет
та нелегкая доблесть,
тот ответ за обещанное
«всегда готов!».
На них уже бросили
грозный отблеск
малые войны тридцатых годов.
По ночам через город
войска идут на ученье.
Тишина над городом как часовой стоит.
Тишина эта тоже подчеркивает
значение
того, что завтра
мальчикам предстоит.
Еще их фамилий

не знают военкоматы.
Еще невелик
их начальный житейский опыт.
Но время,
неумолимое,
как слова команды,
уже их зовет,
и требует,
и торопит.

Весь день сегодня в городе
мимозой торговали,
и на карнизах голуби
влюбленно ворковали.
А я припомнил белую
сирень, ее метели, —
над нею, над победною,
колокола гудели.
И я припомнил черные
от копоти соборы —
там дымом прокопченные
работали саперы.
Сапер с миноискателем
в своей работе точен.
Он, как хирург со скальпелем,
на ней сосредоточен.
И я припомнил добрую
саперную работу.
Я сам веду подобную
саперную работу.
Сквозь перекрытья грузные
и сросшиеся камни
глаза я вижу грустные,
как дождевые капли.
За той стеной парадною,
где вывеска прибита,
сейчас, как мина, спрятана
вчерашняя обида.
О, только бы не смели вы
обиде поддаваться!
О, только б не успели вы
на mine подорваться!
Сквозь шторы невесомые,
сквозь плотные ворота

веди меня, бессонная
саперная работа!

"За стеною — голоса и звон посуды..."

За стеною — голоса и звон посуды.

Доводящие до умопомраченья
разговоры за стеною, пересуды
и дебаты философского значенья.

Видно, за полночь. Разбужен поневоле,
я выскакиваю из-под одеяла.

Что мне снилось?

Мне приснилось чисто поле,
где-то во поле березонька стояла.

Я кричу за эту стену: — Погодите!

Ветер во поле березу пригибает.

Одевайтесь, — говорю, — и выходите,
где-то во поле береза погибает!

Пять минут, — кричу, — достаточно на сборы.

Мы спасем ее от ветра и мороза!.. —

Пересуды за стеною, разговоры.

Замерзает где-то во поле береза.

"То снега да снега..."

То снега да снега,
то трава эта вешняя.
А тайга — все тайга.
А тайга — она вечная.
От ее пространств,
от ее безбрежности —
этот дух спокойствия
и безгрешности.
Топором рубили,
и огнем губили —
а ее не кончили,
а ее не убили.
Где-то рухнула лиственница,
и упала, и смолкла.
Где-то смолка закапала,
обгоревшая смолка.
Повалилась береза,
топором изувеченная.
А она — все такая же.
А она — извечная.
Неприметны рубцы ее,
не видны переломы
за ее буревалами,
сквозь ее буреломы.
Только волны зеленые
ветер гонит по склонам.
Что — отдельное дерево
в этом мире зеленом?
Просто рухнула лиственница,
и упала, и смолкла,
Просто смолка закапала,
обгоревшая смолка,
как росинка незрячая,
как слезинка невинная,
вся почти что прозрачная
и почти что не видная.

В оружейной палате

Не березы, не рябины и не черная изба —
всё топазы, всё рубины, всё узорная резьба.
В размышленья погруженный средь музейного добра,
вдруг я замер, отраженный в личном зеркале Петра.
Это вправду поражало: сколько лет ни утекло,
все исправно отражало беспристрастное стекло —
серебро щитов и сабель, и чугунное литье,
и моей рубахи штапель, и обличие мое.
...Шел я улицей ночью, раздавался гул шагов,
и мерцало надо мною небо тысячи веков.
И под этим вечным кровом думал я, спеша домой,
не о зеркале Петровом — об истории самой,
о путях ее негладких, о суде ее крутом
без опаски, без оглядки перед плахой и кнутом.
Это помнить не мешает — сколько б лет ни утекло,
все исправно отражает неподкупное стекло.
Люблю осеннюю Москву в ее убранстве светлом,
когда утрами жгут листву, опавшую под ветром.
Огромный медленный костер в конце аллеи где-то
гудит, как траурный костел, — там отпевают лето.
И тополь гол, и клен поник, стоит, печально горбясь.
И все-таки своя у них, своя у листьев гордость.
Ну что с того, ну что с того, что смяты и побиты!
В них есть немое торжество предчувствия победы.
Они полягут в этот грунт, собой его удобрят,
но их потомки их потом припомнят и одобрят.
Слезу случайную утрут, и в юном трепетанье
самопожертвенный их труд получит оправданье.
...Парит, парит гусиный клин, за тучей гуси стонут.
Горит, горит осенний клен, золою листья станут.
Бульвар ветрами весь продут, он растает с летом.
А листья новые придут, придут за теми следом.

Первая кровь

Из старой тетради

А первую кровь мы видели так.

Снегом нас обдавая,
легкие танки берут разбег,
выскочив на большак.

Дымное зарево впереди.

Скоро передовая.

Сбоку идет старшина Свиридов,
командует —

шире шаг!

Потом обгоняют нас на рысях
конники в вихре белом.

У эскадронного — белый чуб
да на щеке рубец.

У эскадронного по бокам —

шашка и парабеллум,
лихо несет его вороной

в яблоках

жеребец.

А нам шагать еще и шагать —
служба наша такая.

Мы, говорят, царица полей —
это, конечно, так.

Нам шагать себе и шагать,
службу не попрекая,

сбоку идет старшина Свиридов,
командует —

шире шаг!

И вдруг навстречу нам, из леска,
словно бы от погони,

оттуда, где орудийный гром

ухает без конца,

мчатся лошади без людей,

дикие скачут кони,

кровь на загривке у вороного

в яблоках

жеребца.

Так и запомнилось навсегда.

Дикие кони скачут.

Черная лошадиная кровь

падает на большак.

Дымное зарево впереди.
Бабы в деревне плачут.
Сбоку идет старшина Свиридов,
командует —
шире шаг!

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru